



П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина

I

Один из главных недостатков нашей литературы заключается в том, что наши грамотные люди часто мало образованны, а образованные часто малограмотны. У нас такой сложился порядок, что образованность сама по себе и грамотность сама по себе. Можно к этому еще прибавить, что нередко встречается дарование, при котором нет ума, и ум, при котором нет дарования. У нас вообще всего труднее сводить концы с концами. Концы так врозь и так напряженно разрослись, что они расползаются, если захочешь их пригнать. По большей части пишут у нас те, которым писать нечего и не о чем. Те, которым писать было бы о чем, не имеют привычки или дичатся писать. Люди, не принадлежащие к разряду присяжных писателей, боятся выставить себя напоказ, боятся причислить себя к известному ремеслу и вписаться в известный цех сочинительства. Сочинитель у нас такая же отдельная личность, как, например, зубной врач. Недостает только вывески на месте жительства, но подразумеваемая вывеска не менее того бросается всем в глаза. Сочинитель не в силах скидывать ее с себя ни дома, ни на улице, ни в гостях. Он как-то и в семье своей сперва сочинитель, а там уже муж и отец. Это какой-то несмываемый первородный грех. Вообще многие не любят, чтобы именовали их по званию, а не по настоящей их личности. Каждый хочет непременно быть Василием Ивановичем или Иваном Кузьмичом, а и того лучше его высокоблагородием и его превосходительством, но уж никак не господином доктором, не господином профессором и т. д. <...> Пушкин также не любил слыть в обществе стихотворцем и сочинителем. Таковым охотно являлся он в кабинете Жуковского или Крылова. Но в обществе хотел он быть принимаем как Александр Сергеевич Пушкин. Понимаю это. Но если уже и он, достигнувший славы *сочинительством*, как бы чуждался патента на нее, то каково же другим второстепенным сочинителям, но людям рассудительным, навязывать на себя эту цеховую бляху, только что не под номером.

<...>

Сюда напрашивается еще следующий рассказ. Один военный начальник строго выговаривал молодому подчиненному своему за то, что он занимается сочинениями и печатает себя в журналах. «Что это вздумалось тебе, — говорит он, — на это есть сочинители, а ты гвардейский офицер». Выговор может, разумеется, показаться довольно странным, но он не лишен некоторого основания и по общим принятым понятиям объясняется, если не вполне оправдывается. Знаменитый Манзони¹ был почти того же мнения, но в другом отношении. Он говорил мне в Милане, в 1835 году, что со временем звание писателя совершенно упразднится и сольется со всеми другими званиями, потому что способность писать и привычка отдавать себя в печать, когда нужно, будут, общие принадлежности всех образованных людей. А надеяться должно, что со временем все люди будут более или менее образованны. Из того, разумеется, не следует, что все будут поголовно поэты и отличные прозаики, как и ныне в числе словесных тварей не все Демосфены и Цицероны. Дело только в том, что авторство и письменность не будут особенностью и почетным исключением. Мы уже видим, что на Западе многие, не принадлежащие к касте так называемых литераторов, пишут и печатают свои записки (*memoires*), путевые впечатления, письма и так далее. Они литературой, так сказать, не промышляют и не живут, но все-таки они сподвижники в деле книгопечатания и признают Гуттенберга своим предком. Дело в том, что они просто люди грамотные и пользуются грамотою, как общим человеческим достоянием и домашним орудием.

Между тем когда на Западе грамотность или письменность вообще распространяется, творения собственно литературные падают более и более. В то самое время, когда литераторы перерождаются в публицистов и в политические лица, выделявая из литературы, то есть из журналистики, ступень для достижения парламентской трибуны, а от нее префектуры или министерского кресла, политические лица, депутаты, министры силою обстоятельств и общего давления втягиваются в журнальную и письменную деятельность. Там редко найти литератора, который был бы не что иное, как литератор, и довольствовался бы этим званием. Исключений так мало, что они в счет не входят. Из известных мне во Франции, может быть, и есть только одно исключение, достойное особенной отметки, — это Сент-Бев² <...>. Едва ли не он один остался верен свободному, бескорыстному и наследственному служению. Еще назвать могу одно исключение, которое встречал я в Париже и в Риме, а именно поэта булочника Ребуля (*Reboul*)³. Это замечательная личность и по дарованию, и по добродушию и нравственным качествам. Впрочем, позднее и он был оторван от хлеба насущного и от хлеба духовного, но ненадолго: он был в округе своем избран в члены представительного собрания. Впрочем, куда ни посмотри, в Англии, в Германии, а в особенности

во Франции, литература ныне не что иное, как средство и орудие. Некогда могучая и самобытная республика письмен (*la republique des lettres*) занимает в настоящее время в статистике всемирной место едва ли не уступающее в значении и силе республике Сан-Марино, которую не заметил и, следовательно, не проглотил и сам Наполеон I. Все, что ныне читается с жадностью, разве это литература в прежнем смысле этого слова? Священнослужение обратилось более или менее в спекуляцию и промышленность. Кто ныне пишет поэмы? Куда девалась трагедия? Сколько различных родов пиитики и статей литературного уложения пропало без вести! Исторические творения, как пишут их ныне Тьер, Ламартин, Луи-Блан, Мишле⁴, даже литературные курсы, какие преподаются, например, парижскими профессорами, разве все это чистая и бескорыстная литература? Везде из-под литературной оболочки проглядывают политика, дух партий, задние мысли, гражданские и социальные утопии и прочее вовсе не литературное. Тут вспомнишь Крылова⁵:

Сосед соседа звал откушать,
Но умысел другой тут был,

и прибавишь:

Сосед политику любил
И звал политики послушать.

История, роман, поэзия, все это перегорело в политический памфлет разных видов, целей и размеров. Все это, может быть, и потребность или прихоть времени. Вовсе не слушать этих потребностей и прихотей — неуместно и невозможно. Вполне победить их трудно, но слепо прислуживать им и рабски повиноваться не следует. Во Франции о литературе даже почти не упоминается. Это слово вытеснено другим: *la presse*, т. е. *печатность*. Выражение материального значения заменило выражение, имевшее более нравственное значение. Это не случайность, а полный смысла признак настоящего времени. Вещественность поборола духовность и, побежденная, не иначе может проявляться, как под знаменем своей победительницы. Еще за двадцать пять лет тому Вальтер Скотт, Байрон, Манзони были явления возможные. Голос их раздавался во всех концах образованного мира. Новый роман — и заметьте, роман не политический, не социальный, — новая поэма, новая драма были событие в общественной жизни. Они возбуждали повсеместное внимание и сочувствие. Старик Гете читал и изучал мелодию Байрона, Байрон изучал Гете; о публике, о большинстве образованных читателей и говорить нечего. Великие художники держали в руке своей умы и сердца очарованного ими поколения. Ныне

очарования нет. Времена чародеев минули. Сила и владычество вымысла и художественности отжили свой век. Ремесленники слова этому радуются и празднуют падение идеальных предшественников. Капища опустели, говорят они: теперь на нашей улице праздник. Спросим: многие ли ныне пишут потому, что в груди их волнуются и роятся образы, созвучия, которые невольно и победительно просятся в формы, в картину, в жизнь искусства, в отвлеченное, но живое воссоздание мира, жизни духовной и вместе с тем жизни действительной? Кто пишет для того, что ему в силу воли и закона природы необходимо и сладостно разрешиться от бремени таящегося и зреющего в груди его? Гете, Шиллер были бы очень неуместны в нынешней Германии. Им было бы неловко и как-то совестно. Можно предположить сбыточность всех возможных преобразований в Италии, но есть ли возможность предположить, что в ней явятся новый Тассо, новый Ариосто? Тот же Манзони, написав один превосходный роман, заперся в молчании своем. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и другие знаменитости, старшая ветвь литературного дома, бессознательно подготовившие нынешнюю Францию, возвратись они на землю, не признали бы законными наследниками своими младшую ветвь, воцарившуюся во французской литературе. Вольтер и Руссо отреклись бы от потомков своих.

Мы видим, что железные дороги частью уже упразднили, а со временем и окончательно упразднят бывшие путевые сообщения. Другие силы, другие пары давно уже уволили огнекрылатого коня, который ударом копыта высекал животворные потоки, утолявшие благородную и поэтическую жажду многих поколений. Ныне Пегас — та же кляча Росинант, на которой разъезжал рыцарь печального образа, и поэт в наше время едва ли не тот же Дон-Кихот.

II

<...>

Теперь возвратимся к своим рубежам, или *островам* (охотничье выражение). Мнение Манзони, нами вышеприведенное, о переходе литературы из частной среды в общий разлив, так что уже трудно будет размежевать чресполосные уголья и обозначить столбами, где кончается литература и где начинается жизнь, или обратно, если это мнение вполне и осуществится когда-нибудь и где-нибудь, то, во всяком случае, у нас гораздо позднее, нежели у других. На то много очевидных причин. У нас литература не слишком разнообразна и богата. Как же надеяться, чтобы она могла скоро разлиться чрез край и оросить дальние окрестности и оплодотворить новые жатвы. Жизнь наша пока еще маложизненна. Писатели наши, за редкими исключениями, не только по старым предрассудкам общества, но и по собственным предубеждениям живут чересчур

особняком. По каким-то стремлениям к худо понимаемой независимости, по какой-то ложной гордости многие из них не хотят повиноваться условиям того, что называется, и, впрочем, того, что есть в самом деле, высшим обществом. Что же выходит из этого горделивого отщепенства? Последствия прискорбные! Писатели остаются в стороне. Литература, живая сила, относится ими на второй или нередко и задний план, а потому и передают нам они наблюдения, впечатления, так сказать, из вторых и третьих рук. Пожалуй, иное иногда сказано красиво и ловко, но нет жизни, потому что между писателями и жизнью углубилась бездна. Жизнь действует, волнуется, совершенствуется, ошибается мимо тесного их горизонта. Никогда не бывают они с жизнью в одном и равном диапазоне. Ученым изыскателям таинств науки и природы удаление от шума и столкновений событий может быть благоприятно, хотя, впрочем, оно и не есть необходимо. Мы видим, что Гумбольдт⁶, утренний труженик, вместе с тем и вечерний, салонный и любезнейший собеседник. Писатель светский должен и сам быть на поле действия и битвы. Он должен быть в одно время и соглядатаем и бойцом. Он должен проверять умозрения свои опытами действительности и покорять действительность исследованиям и разложению своих умозрений. <...>

Аристократические салоны не помешали Карамзину написать 12 томов «Истории»; Пушкину написать в короткое время несколько превосходных произведений. Напротив, может быть — о ужас! — эти салоны способствовали развитию, разнообразию, укреплению их дарования. Исключительный дух товарищества, что-то вроде замкнутого заведения, суживает понятия: тут не себя переносишь в среду жизни, а жизнь переносишь в свой заколдованный круг, окорочиваешь и заключаешь ее в тесных границах. <...>

Писатель везде более или менее, а у нас решительно *более*, ремесленник или волшебник, наемник или повелитель. Среднего места ему в обществе еще нет. Он стоит или выше, или ниже других. На него смотрят или с чувством снисходительного участия, похожего на жалость, или с каким-то слепым суеверием.

При таких условиях и в таком положении дела русская литература имеет особенное значение и ей исключительно свойственный характер. Она не достигла еще того возраста, который пережила или переживает литература других народов. Там она во многих частях, так сказать, перезрела; у нас во всех частях еще не созрела. Там она сила ветшающая; у нас возрастающая. Там она живет более минувшим, привычками и сочувствиями, перешедшими к ней в виде предания; у нас живет она более залогами и упованиями на будущее. Так и чувствуешь, что у нее еще многое впереди. Чем действия ее ограниченнее, тем более должна она сосредоточиваться. В литературе нашей еще должно господствовать

единодержавие, или, по крайней мере, литературная власть должна быть принадлежностью сильной и умной олигархии. Литературная демократия, безначальство у нас никуда не годится.

Власть, разбитая по многим рукам, власть, сошедшая с вершин на плоскость, не умножает внутренней силы литературы, а только роняет достоинство ее. Власть большинства рождает посредственность. Плодущие роды не всегда обозначают сильную организацию. А из явившихся на свет иные оказываются мертворожденными, многие не живучими. Власть должна оставаться достоянием немногих, но только была бы она зиждительна и законно устроена. Таков закон природы и провидения. Великие умы, высокие дарования никогда и нигде не рождаются сплошь да рядом. Светлые исторические и литературные эпохи имели всегда во главе своей немного избранных и предназначенных к делу представителей. Великие истины воплощаются и проявляются всегда в одном лице, а от него уже развиваются по общинам поколений. <...> В лучшие эпохи и у нас литературная держава переходила как будто наследственно из рук в руки. На нашем веку литературное первенство долго означалось в лице Карамзина. После него олицетворилось оно в Пушкине. В настоящую минуту верховное место в литературе нашей пусто. Наша эпоха отвечает исторической эпохе нашего междоусобия, смут и самозванцев. В этом безначалии заключается второй важный недостаток нашей современной литературы. Разумеется, есть и теперь дарования блестящие, добросовестные, но нигде не выглядывает хотя бы литературный Пожарский, который был бы, так сказать, предтечею и поборником водворения законной власти. Силы раздробленные, второстепенные не могут заменить силу полную и сосредоточенную. Нет направления, нет стройного законного развития. Направление к расстройству, к беспорядку мы не можем назвать направлением: это разве уклонение. Владычество противозаконное не есть владычество, а насилие. Куда ни посмотри, все более или менее значительные дробы. Нигде нет самостоятельных числительных сил, клонящихся к одному общему и богатому итогу. <...>

Языков и Гоголь

I

Кто только не совершенно чужд событиям русского литературного мира, тот мог встретить здесь наступивший год с двумя впечатлениями разнородными, но равно резко означавшимися. Одно из них порождало